

Василий Брусянин

Как странно... как просто



Василий Васильевич Брусянин
Как странно... как просто
Серия «Дом на костях»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9458526

Аннотация

«Как странно... как просто она подошла ко мне на Невском, улыбнулась и сказала:

– Мужчина, дайте мне папиросочку...

Потом захохотала громко и непринуждённо. И её хохот оборвался в сумраке вечера, в говоре и смехе толпы.

...Сегодня я опять встретил эту странную „уличную“ девушку с белым пером на тёмной шляпе и с тупой усталостью в глазах. В этих глазах не было даже „беспокойной ласковости“... Были печаль и скука... Нет, была тоска...»

Василий Брусянин

Как странно... как просто (Новелла)

Как странно... как просто она подошла ко мне на Невском, улыбнулась и сказала:

– Мужчина, дайте мне папиросочку...

Потом захохотала громко и непринуждённо. И её хохот оборвался в сумраке вечера, в говоре и смехе толпы.

...Сегодня я опять встретил эту странную «уличную» девушку с белым пером на тёмной шляпе и с тупой усталостью в глазах. В этих глазах не было даже «беспокойной ласковости»... Были печаль и скука... Нет, была тоска...

Как и тогда она шла медленно, как будто поджидая кого-то. Иногда она оглядывалась, и выражение её глаз менялось. «Беспокойным» взором она точно искала кого-то в толпе прохожих...

Искала не утерянного, ждала не обещанного...

Но вот, белое перо на её шляпе мелькнуло и исчезло. Я долго и тщетно искал её глазами, ускорял шаг, всматривался... Мелькали лица, котелки, фуражки, шляпы с лентами и перьями. Но это были чужие лица, чужие котелки, фуражки, шляпы... Шляпы с белым пером я не видел... Её, этой странной девушки с тоской в тёмных глазах, нигде не было...

Почему-то мне хотелось повстречаться с нею именно сегодня и смотреть в её тёмные с тоскою глаза. Странно, она как будто всегда весела и болтлива, а в её глазах постоянная тоска...

В сумраке ночи расплывается свет фонарей, яркими полюсами врезывается свет из окон магазинов. Сумрак ночи пугает желтоватый огонёк вспыхнувшей спички, в сумраке ночи двигаются красноватые огоньки дымящих папирос... А её тёмных глаз с тоской никогда не озаряет искра радости и веселья... Лицо улыбается, а в глазах всё одна и та же тоска...

* * *

Помнится, первая встреча у нас была такая. Часу в первом ночи я переходил Аничков мост. Это было в ненастную сентябрьскую ночь. Моросил холодный, мелкий и частый дождь. Дул резкий ветер, угрожавший наводнением, и гнал куда-то спешно бегущих, озлобленных, хмурых людей. Группы людей – то густые, то разреженные – двигались как волны, но без всплеска, без рёва. Волны грязной Фонтанки бились в стены гранитных набережных и ревели и негодовали волнующимися «беляками», а толпы людей не бьются в каменные стены домов, а спешат куда-то мимо каменных громад с тихим говором без смеха, с тихим шёпотом без злобы... И гонит их холодный ливень, а далеко впереди них бьют-

ся, гонимые ветром, тихие всплески слов, жалкое шуршание шёпота.

Вода в Фонтанке поднялась, билась в гранитные стены и была тёмной. Как в зеркале в ней отражалось тёмное небо. И как гигантские огненные змеи извивались, рассыпались и смыкались на тёмном фоне воды отражения огней.

У подножия одного из тёмных коней стояла она, одинокая и точно лишняя, – стояла, залитая светом ближайшего фонаря и сумрачная от тени, наброшенной на её лицо полями шляпы. И была тоска в её глазах.

И эта тоска остановила моё внимание. Когда я поравнялся с девушкой, она улыбнулась и сказала:

– Мужчина, дайте мне папиросочку!..

Я исполнил её желание, и она поблагодарила меня. Когда я помогал ей раскурить папиросу, она как-то странно пожимала плечами, точно хотела уйти в себя от сумрака и холода, и несвязно шептала:

– Холодно... Проклятая ночь... Идёт дождь...

Я заглянул в её тёмные глаза. Как мгновенная далёкая зарница мелькнула в них улыбка, и опять их затуманила тяжёлая тоска.

– Отчего же вы нейдёте домой, если вам холодно? – спросил я.

– Домой?.. Рано, – ответила она, слегка шаркнула ногами, снова улыбнулась и добавила, – до свидания, мужчина... до-сви-да-ния...

И как-то странно ещё раз растянула это слово, словно увлекая меня им за собою.

Она шла вдоль Невского, так же медленно как и раньше, и не оглядывалась. В редяющей толпе ночи мне легко было следить за нею глазами, хотя я не знал, для чего это надо. Попадались и ещё, такие же как и она, «уличные», шумные, назойливые. Слышался их хохот, какой-то странно-смелый говор. С ними шли мужчины: одни хмурые и молчаливые, другие – улыбающиеся и разговорчивые не в меру.

Все они ищут не потерянное и надеются на не обещанное! Я похож на них, и они – на меня. Из нас как из одинаковых звеньев можно составить большую цепь, и тогда мы можем охватить всю землю сплошным кольцом, обнять её как нашу общую любовницу и задушить в требовательной ласке. А она, эта девушка, в шляпе с белым пером, не похожа на меня, на всех нас.

У неё в глазах – тоска...

И что-то властное тянуло меня за нею, и я шёл и смотрел ей вслед...

* * *

Я шёл по панели и всё время думал об этой странной девушке.

В самом деле, не странно ли это? Я встретился с **какой-то** девушкой, которую раньше никогда не видел. Моё внимание

остановила её тоска. Она попросила папиросу, улыбнулась, ушла, потонула в сумраке ночи. А в моей памяти надолго запечатлелся её неясный и какой-то манящий образ.

Как всё это странно, как просто – люди останавливают моё внимание, и я начинаю что-то искать, что, как кажется мне, когда-то потерял. Тенью ночи мелькнул чей-то образ и точно острым резцом ранил душу...

В памяти мелькнул отрывок из сумрачной петербургской поэмы:

«Еду ли ночью по улице тёмной,
Бури ль заслушаюсь в пасмурный день...
Друг беззащитный, больной и бездомный, –
Вдруг предо мной промелькнёт твоя тень»...¹

Как странно, как просто повторять чужие слова, улавливать чьё-то настроение, вбирать его в душу как что-то своё, как то, что показалось утерянным... И в тот пасмурный день перед глазами поэта мелькнула чья-то тень!.. Может быть, и тогда была такая же ненастная ночь. Больной и бездомный друг мелькнул в толпе. Может быть, и тогда поэт уловил в сумраке ночи чей-то взгляд, полный тоски. Чужая тоска вышла из души неизвестного друга и, властная и покоряющая, вошла в другую душу.

Из тьмы ночи глянула на меня тоска и точно уколола ду-

¹ Н. А. Некрасов «Еду ли ночью по улице тёмной...».

шу. Если бы чаще чувствовать эти уколы, – душа никогда не спала бы. Чужим горем окрыляется чуткая душа, крепнет и всеми струнами поёт и поёт...

И как просто переживать тоску других: брать не потерянное, а, может быть, и потерянное... ждать не обещанное, а, может быть, и приготовленное кем-то...

О как бы я хотел чаще поднимать **ЭТО** кем-то потерянное!..

Чужая тоска отзывается в душе грустью. А я люблю эти переживания как вечно грустные синие дали хлебородных полей и молчаливых и тихих долин...

* * *

Минувшей ночью я плохо спал...

Страшные-страшные призраки беззвучно реяли, склонялись к изголовью и точно шептали что-то. И часто в минуты тревожного пробуждения мне казалось, что у моей постели стоит страшный призрак Смерти. Чудится шорох костей, чудится бездонный, неподвижный взгляд глазных впадин голого холодного, немого черепа... И слышится тихий, вещий звон косы, которой вооружена беспокойная тень мира – Смерть...

Как странно чувствовать то, чего нет, и бояться того, что ещё идёт где-то далеко в таинственном молчании грядущих дней.

Их ещё нет, этих сумрачных дней жизни. Солнце ещё не зажгло их палящих и тусклых огней, и эти жадно пожирающие огни ещё не ищут жертв... Но эти дни идут, идут... В пучине голубого света, в лучах солнца идут они, бесшумные, царственные и безвольные. И они придут к нам, никем не потерянные, и в сумраке дней жизни будут искать подготовленные жирной землёй покорные жертвы. Эти дни идут и скоро придут, и вернут жирной ненасытной земле смрадные разлагающиеся останки.

Весь минувший день всё одни и те же впечатления и разговоры о холере, о смерти. Вместо слов – звон костей! И кажутся глаза людей немymi впадинами голого черепа. Погаает день и с отблеском зари уносит надежды...

Вечером опускаются на окнах шторы, зажигаются лампы и мигающие свечи, неподвижным пламенем светит электричество, но свет уютных комнат не рассеивает чёрных призраков. За шторами, за тёмными стёклами окон, в сумраке ночи реют чёрные призраки смерти. Выходят они из сырых и душных подвалов, бредут издалека, – из рабочих кварталов, встают с глухих, точно проклятых кем-то, задних дворов, крадутся по мостовым, жмутся у стен сырых, полутёмных лестниц...

Реют, встают, бродят чёрные пугающие призраки, шарят у окон, мертвенным дыханием отдувают шторы и занавески и дышат на свет комнат и точно грозят потушить свет... потушить жизнь...

Тревожные вечерние разговоры о Смерти... Как это странно – подводить итоги минувшего дня и думать о Смерти!

А назавтра осеннее холодное солнце не развеселит душу. Светит оно недолго и скупое и не рассеивает призраков минувшей ночи. И день, и ночь, как брат и сестра, сливаются в греховных, но бесстрастных объятиях и дают жизнь тому, что люди называют **Ужас!**..

Я целый день бродил по улицам. Когда разрывались серые, тяжёлые тучи – солнце скупое бросало людям лучи и светило печально. Люди тусклыми, точно испуганными глазами встречали меня, и я читал во взгляде их глаз: «Ужас! Ужас! Ужас!..»

Вечером тяжёлые тучи сгустились, потемнели и как будто ближе опустились к земле. Заря давно потухла, прикрылась лохматыми тучами у самого горизонта и точно ушла из мира ужаса и смерти в другой мир радостной жизни.

Под покровом ночи остались чёрные призраки Смерти да мы, одинокие испуганные люди...

* * *

Сегодня я опять встретил ту странную девушку...

Весь вечер я бродил по Невскому с каким-то странным беспокойным чувством и точно искал человека, который развеял бы мой ужас и мои одинокие думы. Но люди шли

и ехали и не замечали меня, и так странно было смотреть на их спешную походку и на их неподвижные, точно оцепеневшие лица. Проезжали тёмные кареты, и за тёмными стёклами виднелись испуганные лица... Слух улавливал отрывки фраз, слова. Робко-печальные улыбки, сдавленный фальшивый смех...

Тёмные тучи на небе, чёрные мысли в глазах...

Она была не одна. Их было три. И все они развязной походкой шли по панели. Задевали локтями мужчин, и те улыбались. Сердили строгих дам своей развязностью, и те сторонились их. И все они громко смеялись, весело, беззаботно-отчаянно, и заражали своим смехом других, хмурых. И этот смех звучал в хмурой толпе звоном весёлых голосов из другого мира, оттуда, куда ушла заря.

Она метнула в меня мимолётным случайным взглядом, и её смех захватил и увлёк меня за собою. Смех порока, нищеты и отчаяния – бурная властная волна.

Я шёл за ними, за этими странными девушками, и ждал, когда оглянется она, узнает меня, позовёт. Но она меня не замечала, и во мне заныло что-то неясное и беспокойное. Она ушла и затерялась в толпе. И опять предо мною эти странно-пугливые тени людей...

Ночь. Два часа. Толпа поредела. Я люблю безлюдные петербургские улицы поздней ночью. Особенно Невский я люблю малолюдным. Днём на шумном проспекте было торжище фальшивых улыбок, пошлых фраз, суровых приго-

воров. Вечером люди обменивались дешёвыми чувствами и продавали друг другу тоскующие души и выхоленные красивые тела... А поздней ночью люди ушли и разнесли с собою на ногах липкую грязь панелей и мостовых. И мне кажется: улица стала чище, просторней и милей... Наглухо закрылись двери и окна магазинов, и тускло горящие фонари казались мне отдыхающими в одиночестве под молчаливым небом, в глухом полумраке проспекта.

Я долго бродил одиноко и всё искал девушку с белым пером на тёмной шляпе.

* * *

Вот идёт она, одна, безмолвная... Покорно опущены руки, сдвинуты плечи, и шляпа нависла над грустным лицом.

Она поравнялась со мною, вскинула глаза, улыбнулась, сказала:

– Мужчина, дайте мне папирочку!..

Я дал ей папиросу и, пока она закуривала, старался на-помнить ей, что месяц назад, в такую же тёмную ненастную ночь, мы повстречались с нею, и тогда я также дал ей папиросу. Она сказала:

– Не помню я... Много мужчин встречаешь на улице...

И она громко расхохоталась, шаловливо сжала губы, выдохнула густой клуб табачного дыма и добавила:

– Холодно сегодня, сыро... Людей мало... Все мужчины

попрытались... Чёрт бы их побрал!..

И она скверно выругалась.

– Отчего же попрытались мужчины?

Она лукаво улыбнулась, взяла меня под руку, сложила свои бледные губы трубкой и бросила мне в лицо клуб табачного дыма. От неё пахло вином...

– Все мужчинешки попрытались!.. Боятся, проклятые, холеры!..

И она опять раскатилась диким весёлым хохотом.

– Вчера у меня был в гостях один мужчина... Хорошенький кобелёк, только шерсть немного вылиняла... Ну да мне наплевать!.. Принёс две бутылки коньяку и говорит: «Танька, давай пить, пить, пить»... – «Давай, – говорю, – я люблю пить коньяк!» И мы пили... Тот мужчина тоже боялся холеры... – «Танька, – говорит, – выпьем – страху не будет! А так жить невозможно»... – Видите, как вышло. Ему страшно жить без коньяку, он и напился. А мне весело жить, страху этого нет – и я напилась...

Мы дошли до Полицейского моста и повернули обратно. Она куталась в кофточку, приподняв воротник, и прятала в рукава похолодевшие руки без перчаток. Она долго болтала всякий вздор и смеялась. Смех не заражал меня, а утомлённый мозг как раскалённое железо жгли мысли: «Как скучно... Как больно... Как одиноко»...

Тёмные густые волосы её растрепались, выбились из-под шляпы с белым пером и длинными шаловливыми локонами

повисли около висков. Неряшливая причёска шла ей, и я видел, с каким огоньком в глазах некоторые мужчины провожали нас: меня они ненавидели, её – хотели...

– Мужчина, пойдёте ко мне коньяк пить... так, без всяких глупостей... Надоело мне всё... Едемте!..

Я отказывался.

– Едемте!.. Как вас зовут? А?

Я назвал себя и почему-то соврал.

– Серёжа?.. Ну, Серёженька, поедemте ко мне коньяк пить. Полторы бутылки осталось... Конфетки есть... Серёженька, да ну же, милый... – теребила она меня за рукав, а сама с лукавством смотрела на меня тёмными матовыми глазами; и в них уже не отражалась тоска.

– А... А-ха-ха!.. – рассмеялась она. – Может быть, и ты, Серёженька, боишься холеры как тот мужчина?.. А?.. Ничего, душенька, мы выпьем – и страху не будет...

Она, жалкая, «уличная», смеялась надо мною! Уязвлённое самолюбие приподнялось во мне ярким палящим столбом. И я сказал:

– Едем... едем... Я не боюсь смерти!

– Ах, ты, милый мой... Серёженька!..

* * *

Мы ехали на извозчике, в сырой и холодной пролётке с приподнятым верхом, а она всё болтала разный вздор

и смеялась. И вдруг лицо её точно вытянулось, глаза померкли, голос упал.

– Бррр!.. Холодно... – выкрикнула она, скрипя зубами, и добавила глухим голосом. – Проклятая... дьявольская жизнь!..

И смолкла, точно испугавшись за смысл своих слов.

Глухой мрачный переулочек. Тёмный двор колодезем. Тёмная осклизлая сырая лестница. Какой-то хриплый, точно простуженный звонок. Какой-то удушливый пряный запах из убогой квартиры, когда приотворилась дверь...

Как тяжёлый сон я вспоминаю эти впечатления.

– Вы знаете, – сказала она, когда мы поднимались по лестнице, и я освещал путь зажжёнными спичками, – в 21 номере у нас была холера... какого-то рабочего схватила...

Сердце моё как будто сжала какая-то колючая рука, и я спросил:

– А где этот 21 номер?..

– Ха-ха-ха! – рассмеялась она. – А вы трусили? Не бойтесь – на той лестнице...

В её небольшой затхлой комнате в два окна опрятная постель, диван, овальный стол, стулья в серых чехлах, занавески и комод с какими-то пузырьками и коробочками и с заплётёнными бумажными цветами. В этой комнате не было ни тепла, ни яркого света, ни уюта, ни радости...

И странно, в переднем углу висела маленькая, тёмная икона, а перед нею светилась лампада. Пока она зажигала лампу,

я рассматривал цветы на окнах. И цветы здесь запылённые, поплёкшие, скучные...

Она напевала какие-то шансонетки и романсы, рюмка за рюмкою пила коньяк и по мере опьянения становилась веселее и веселее... Часто она садилась ко мне на колени, цепкими руками обнажёнными выше локтя висла у меня на шее, заглядывала в глаза, лукаво улыбалась. Когда она поцеловала меня – брезгливое чувство обожгло меня, и я её слегка отстранил.

Она, жалкая, не заметила моей брезгливости. Как ужаленная бросилась от меня и, присвистывая и прищёлкнувая пальцами как кастаньетами, скакала и кружилась по комнате, поддразнивая меня шелестом шёлковых, нескромно приподнятых юбок...

Вот она, тяжело дыша, бросилась на диван, утонула в его мягком сидении, задумалась. Повела глазами в тёмный угол комнаты, посмотрела на лампочку, поправила причёску.

Мы сидели минуты две, безмолвные, точно притаившиеся. Я прислушивался к странной тишине сырой и скверной квартиры и спрашивал себя: «Зачем я здесь?..»

– Серёжа... Серёжа... – глухо позвала она. – У меня подруга умерла... Манька-Чухонка... Весёлая была девочка...

– Отчего умерла?

– От холеры... ей-Богу... Была у меня вечером... Два гостя у нас сидели. Ели яблоки, груши, виноград... Пили... Потом она увела к себе гостя... На Колокольной она жила...

Увела гостя, а к утру её схватило.

Отвалившись на спинку дивана, она откинула голову на подушку и смотрела в потолок на жёлтое пятно света над лампой. У неё красивые тёмные глаза, большие, матовые с длинными ресницами, нос небольшой, немного вздёрнутый, губы бледные, на щеках румянец. Она тяжело дышала, а её упругая высокая грудь поднималась и опускалась, и как-то странно при этом потухали и вновь вспыхивали светлые блики лампы в круглых пуговицах её кофточки.

Она полулежала на диване, безмолвная, чуждая мне, и точно не знала, что делать.

Приступы веселья как вихри подхватывали её, а потом точно сбрасывали её, и она полулежала, затихшая и точно ушибленная. Мигала глазами, всматривалась, задумывалась и как-то странно двигала головой, точно её душил крахмаль- ный воротничок с пунцовым галстуком.

После длинной паузы она сказала:

– Рассказала я вчерашнему гостю про Машку-Чухонку... Испугался, бросил свой коньяк и убежал, скотина прокля- тая!.. Испугался холеры! А!.. А я не боюсь!.. Не боюсь!..

Она встала поспешно. Не угощая меня и точно забыв в эту минуту о моём существовании, выпила залпом две боль- шие рюмки коньяку, не закусила. Выпрямилась во весь рост и громко с рыданиями выкрикнула:

– Проклятая жизнь! Проклятая!.. Разве можно её жа- леть?.. А?.. Разве надо?.. Ха-ха-ха!.. Вижу по глазам – ты

жалеешь её. Смерти боишься, – бросала она едкие слова и, схватив меня за рукав, теребила, рвала, щипала мою руку и точно вырывала у меня признание...

Она быстро выдвинула один из ящичков комода и достала тарелку с яблоками, а сама всё твердила:

– А я не боюсь... а я не боюсь... Машка-Чухонка поела яблоков и умерла...

Она с хохотом поставила на стол тарелку с яблоками, и одно из них, большое с тёмным пятном гнили скатилось на пол. Я со страхом смотрел на неё и на яблоки, а она смеялась. Страшный призрак Машки-Чухонки поднялся из тёмного угла комнаты, протянулся ко мне через стол, сдавил мне горло. Я слышал, как быстро билось моё испуганное сердце, холодные мурашки пробежали по спине, в глазах потемнело.

Она быстрохватила с пола яблоко и подошла ко мне.

– А ты, Серёжка, не съешь!.. Не съешь!.. А я съем!..

Я бросился к ней, схватил её за руку с яблоком. Она с хохотом вырвалась, остановилась у окна и смотрела на меня блестящими от злости глазами.

– А!.. Ха-ха!.. Боишься?.. А я не боюсь!.. Проклятая жизнь!.. Она проклятая! Проклятая!

Она с жадностью, сверкая глазами, ела яблоко и дико хохотала.

– Проклятая!.. Проклятая!.. Машка-Чухонка умерла! Хочу и я!..

Она бросилась на диван, хохотала и как голодный зверь

с жадностью откусывала от яблока большие куски и ела.

Я встал, быстро одел влажное от дождя пальто, а она хотала и неприлично бранилась. Как зверь была она, злая, отчаянная дочь улицы, безумный борец с жизнью... Как всё это странно неожиданно всплыло из тьмы жизни...

Когда я дошёл до двери, она вскочила с дивана, бросила в меня куском яблока и закричала громко, визгливо:

– Ага!.. И ты боишься?.. Ага!.. Все вы, сволочи, дорожите своей жизнью... а я плюю на неё... плюю... Тьфу!..

Она плюнула и скверно выругалась.

Узкая сырая лестница. Тёмный безмолвный двор колодецем. Мрачный пустынный переулок. Носится по переулку холодный ветер с дождём... А тёмные тучи – на небе, а чёрные мысли – в глазах...

Как всё это странно!..